

«ЭНЕРГИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

Мой собеседник — профессор Латвийского государственного университета. Если бы меня попросили назвать интеллигентных людей нашего города, я бы, не задумываясь, назвала прежде всего Язела Эйдуса. Хотя бы по первому впечатлению: внешность, речь, манеры — все как бы из нашего времени (однако без малейшей претенциозности). Думаю, что не для меня одной настоящая интеллигентность ассоциируется с чем-то старомодным, ушедшим. Вспомните ваш опыт общения с человеком порядочным, образованным, воспитанным — согласитесь, это редкое нынче удовольствие. Должна признаться, что в сегодняшних актуальных выступлениях

и публикациях я жду от их авторов не только передовых идей, но и проявления вышеупомянутых качеств. Их вымывание, исчезновение — самый большой урон, который понесла наша духовная культура. Главное, что мы можем противопоставить тому подлому и страшному, что породил наш бесчеловечный строй, — это человечность и достоинство.

Но профессор Эйдус сохранил высокую духовность отнюдь не в уютной гавани, тиши кабинета. Наоборот, это жизнь бурная, полная приключений (если это слово уместно в разговоре о нашей трагической эпохе). Судите сами: окончил Рижскую немецкую классическую гимназию, участ-

вовал в коммунистическом подполье Риги, арестован в 1934 г. — четыре года каторги; уехал в Англию, окончил Лондонский университет, воевал в Красной Армии под Москвой; после войны восстанавливал Латвийский университет; арестован в 1953 г. — три года лагеря в Заполярье, сначала рабочим в шахте, потом маркшейдером; реабилитирован в 1956 г.; в настоящее время известный ученый, занимается проблемами спектроскопии органических соединений, однако главным трудом своей жизни профессор считает перевод на латышский язык «О природе вещей» Лукреция.

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА

— Профессор, в Вашей жизни скрестились, как мне кажется, разнообразные интенции эпохи. Противоречащие друг другу линии развития мира сходятся, обретают плоть в судьбе отдельного человека. И тогда явленное нам сочетание несочетаемого создает ощущение закономерности того, что происходило с людьми. Ведь коммунистическая идея соблазнила не только русского, российского, советского человека. Как это произошло с Вами!

Вся наша семья была «красной». Отец, социал-демократ, участвовал в революции 5-го года, был в свое время сослан в Архангельскую губернию. К сожалению, я мало знаю о его деятельности. Он высоко оценивал Февральскую революцию и крайне отрицательно — Октябрьскую. Мой старший двоюродный брат Бенно, студент юридического факультета, был коммунистом. Он просвещал нас, младших, много рассказывал, давал читать книжки. Бенно два раза сидел в тюрьме, был смертельно ранен при попытке к бегству и в тюрьме скончался. В подполье были и моя сестра Тамара и двоюродные сестры: Люба Футлик — она работает в журнале, и Аида Эйдус, живущая сейчас в Израиле; двоюродные братья: Соломон, впоследствии известный журналист, ныне покойный, и Александр, который погиб в партизанском отряде. Мой учитель древнееврейского, тоже коммунист, очень хорошо использовал уроки для пропаганды.

Надо сказать, что я окончил одну из лучших, древнейших школ Латвии, которая вела свое происхождение от старой Домской школы, преобразованной в гуманитарное училище в 1528 году. Это была немецкая классическая гимназия, находилась на ул. Сколас, 11. Учились у нас в основном немцы, а инородцев — евреев, русских, латышей — принимали в гомеопатических дозах, по 2—3 человека в класс. Наш директор считал, что они придают некоторую пикантность школе, изюминку интеллектуальному уровню класса.

— Вы ощущали себя чужим в школе!

Я тосковал тем, что я еврей, знаете, это было довольно распространённое чувство. Мне казалось, что у неевреев гораздо большие возможности в жизни. Хотя до улманисовского переворота государственная служба для евреев в принципе не была закрыта, был даже министр еврей, но по мере того, как правительство правело, ситуация менялась, и с 1934 г. евреев

на государственной службе уже не было, хотя для них оставались открыты другие области — медицина, музыка, право. В гимназии мне давали понять, что я гость, были даже мелкие инциденты. Но в целом обращение было антидискриминационным. Раввин преподавал евреям, которые того желали, закон божий. (Я немало посещал занятия в этом классе, но потом стал безбожником, хотя всегда относился к религии с пиететом.) Когда начал подниматься национал-социализм, немецкая молодежь им сильно увлеклась, но наши учителя очень не одобряли все эти экстремистские штучки. Пожалуй, наше заведение было консервативно-демократическим и очень строгим. Вне зависимости от того, барон ты, граф или сын рабочего, тебе запрещалось броско одеваться, принести в школу роскошные завтраки и т. д. При этом гимназия давала прекрасное образование. Мы учили латынь, греческий, как в старорежимных учебных заведениях. Сейчас, по прошествии стольких лет, я еще оказался в состоянии перевести на старом запасе Лукреция. Преподавательский состав был очень сильный, люди со степенями, их имена можно найти в энциклопедиях. Как личность, в значительной степени я сформировался в гимназии и многим ей обязан.

Но это я понимаю сейчас, тогда же я считал, что моя школа ужасно ретроградная и ничего не дает. Пожалуй, именно из протеста против классического образования я поступил на химический факультет университета, кроме того, подход мой был сугубо утилитарным: строительству нового общества нужны технари. Я был полон революционной идеей и восторгался всем, что происходит в Советском Союзе. А там проводились разные эксперименты в области обучения: бригадный метод, дальтон-план, кстати английского происхождения. И когда мне было 15 лет, в 1931 г., я вступил в подпольный комсомол. Сначала это были ученические кружки при Учцентре, ими руководили подпольщики, люди взрослые, их настоящих имен мы тогда не знали, только клички. В Латвию засылали много подготовленных людей из Союза, их называли «нелегалстами». Потом Учцентр был расформирован и присоединен к комсомолу. Итак, я был высокоиндейным. Все, о чем писала советская пропаганда, я принимал за чистую монету. Советские книги, газеты, радио — это было для нас свято. А всю антисоветскую пропаганду, все, что писала популярная в то

время рижская газета «Сегодня», латышская, немецкая печать, мы считали ложью. Переубедить нас было невозможно. Мы читали взахлеб «Дневник Кости Рябцева» Огнева. Вы слышали о такой книге? Еще «Костя Рябцев в уззах», где как раз говорилось о новых советских методах обучения. «Я люблю» Авдеенко, «Рассказы о Великом плане» Ильина, знаменитая книга о пятилетках.

— Т. е. читали то же, что и Ваши сверстники в Советском Союзе.

Да, и все там были такие хорошие, и все было так хорошо.

— Чем еще питалась ваша вера!

Был как раз экономический кризис, тяжелый 1931 год. Демонстрации безработных, похороны коммунистов, которые разгоняла полиция. В общем, мы на все смотрели под углом коммунистической пропаганды.

— А репрессии!

Первые сведения о репрессиях мы получили через буржуазную печать: сплошная коллективизация, голод. Всему этому мы не верили. А в тюрьме нам разрешали выписывать газеты, так что мы были в курсе процессов 30-х годов. Местные газеты довольно подробно их освещали, публиковали выступления Вышинского и признания обвиняемых, вина которых была для нас очевидной. Мы категорически отвергали возможность ареста невинных людей. Хотя я должен сказать, мне многое казалось непонятным, странным. Я обращался к более опытным товарищам, коммунистам, они старались все объяснить. Имел, кстати, долгие беседы с Карлисом Озолиньшем. В соседней одиночке сидел нелегалист Думс. Он послал по тюрьме письмо, которое все подписывали. Я помню начало этого письма: «Слава стальному Сталину... Пусть он железной рукой расправится с врагами народа...». В таком духе. Самое трагичное в этой истории заключается в том, что у Думса в Советском Союзе остались жена и дети, они были арестованы и погибли. Он об этом, конечно, не знал, только очень переживал, что перестал получать письма и посылки. В 37-м у него кончился срок. По тогдашнему закону нелегалистов высылали из страны, обычно в Советский Союз. Но тут советское консульство отказалось выдать Думсу визу, и он продолжал сидеть в тюрьме по так называемому закону Ке-

ренского, который гласил: можно держать политического противника в тюрьме без суда, если он не отказывается от политической деятельности или не эмигрирует. Отказаться от политической деятельности партия разрешала только в тех случаях, когда заключение представляло угрозу жизни человека. Были такие, которые подписывали отказ без разрешения, их исключали из партии, считали отщепенцами. Думс, естественно, не отказался, но он совершенно не понимал, в чем дело. Когда его выпустили в 1940 году и он все узнал, он сошел с ума. В тюрьме нелегалитов было много, их всех освободил только 40-й год. Многие потом играли важную роль в Латвии.

— Чем Вы занимались в подполье!

До своего ареста в 1934 г. я был очень активен, руководил комсомольским кружком в одной школе. А когда поступил в университет, вел группу студентов-немцев. Я состоял также в подпольной пропагандистской коллегии. Мы ходили по ячейкам и читали рефераты; вывешивали красные флаги; писали так называемые трафареты на заборах: «Долой!.. Долой!..»; распространяли нелегальную литературу; бросали в почтовые ящики листовки. На заводах после работы — вдруг пара лозунгов, прокламации, летучий митинг. Все это была «практическая работа», а «идеологическая» проводилась на собраниях подпольных ячеек. Все было: клички, явки, конспиративные квартиры. Это известные приемы подпольной работы, которые практиковались, наверное, повсюду и во все времена. К типографиям я не имел никакого отношения. Одна из них находилась в подвале кафе «Флора», в самом центре города, в перчаточной мастерской Ватера. Из типографии материалы разносил «районный техник» — самая опасная была работа. Этим занималась Таня, еще школьница, дочь состоятельных родителей, элегантно одетая и совершенно страшная. Впрочем, конспирация была очень строгая, и я узнал все это только после возвращения из Англии, во время войны.

— У Вас было ощущение, что Вы твердо знаете, за какое государство боретесь!

Очень примитивное: национализация всех заводов, ликвидация национальной дискриминации, справедливость. Я не думал, что мне придется занимать какой-либо правительственный пост, мы просто боролись за революцию.

После улманисовского переворота меня арестовали, был суд, приговор. Максимальный срок за политическую деятельность был 8 лет каторги. Закон о наказаниях включал различные виды заключения: крепость, тюремное заключение, исправительный дом и каторгу. Все они отличались режимом: частота свиданий, переписки, передач, ношение собственной одежды. Самый суровый режим — каторга. Каторжники сидели в основном в одиночках. Я получил 4 года каторги. Сестру Тамару оправдали за недостаточностью улик. Все было по закону. Понимаете, я считал, что сижу за дело, что на их месте я поступил бы точно так же. Была такая песенка у подпольщиков Московского подполья:

Быть может, в это время
У нас будет провал,
А быть может, в то же время
Провалится капитал.
Быть может, в это время
Попадем мы все в тюрьму,
А может, в это время
У нас будет Гэпзу.

Родители осуждали мои идеи, как радикальные. Отец оставался социал-демократом до конца своей жизни. То есть я не знаю, до конца ли. Я уехал в 38-м, а они оба погибли здесь в гетто... Но о наших делах они ничего не знали и очень тяжело переживали аресты, мой и Тамары. Когда моя мать написала мне в тюрьму, что я испортил себе жизнь и т. д., я дошел до того, что ответил ей: «Если ты не оправдываешь моих действий, можешь не ходить на свидания». Не принимал передач, не выходил на свидания. Я же был фанатиком. Но мои старшие товарищи сказали, что с матерью так нельзя. Она очень убивалась, и я «смиростивился».

— Тюрьма не изменила Ваши взгляды!

Что Вы! В тюрьме у нас был очень дружный коллектив политзаключенных, мы изучали марксистско-ленинскую теорию. Книжки получали под обложками каких-нибудь романов. Пока я сидел не в одиночке, а в общих камерах, учеба была систематическая, очень строгая дисциплина. Я уезжал в Англию пламенным коммунистом.

— Вы собирались заниматься политической деятельностью в Англии!

Нет. Иностранцам это было запрещено. Я уезжал за границу для продолжения учебы. Это рассматривалось как мое партийное поручение. Я всерьез воспринимал это дело, решил быстро закончить учебу и максимально быстро вернуться к политической деятельности на родине.

— Приносить пользу...

Пользу? Не знаю. Сомнительно. Почему Англия? Во-первых, мой отец был представителем английских фирм, которые сбывали в Латвии сельдь. Но главной причиной была, пожалуй, другая. В нашей подпольной организации работал двоюродный брат Тани. (Его отец, кстати, был главным инженером рижского стекольного завода «Эмолип».) Когда меня арестовали, мне удалось на некоторое время отвлечь от него подозрения охранки. Отец успел отправить сына в Англию, где тот поступил в университет. Он мне писал в последний год моего заключения: «Приезжай. Тут ты можешь устроиться. Англия такая страна, где человек не пропадает». А моя сестра уже была там.

Меня не сразу выпустили, они даже немного пожеманничали, ведь я был под надзором полиции. Мой отец купил мне билет в агентстве Кука, которое находилось рядом с гостиницей «Рим» (теперь на этом месте гостиница «Рига»), железнодорожный билет третьего класса, «Рига — Лондон», с пересадками в Берлине, Остенде. И вот — станция Виктория. Мой друг в этот день уезжал в отпуск, поэтому только встретил меня и устроил у матери своего лаборанта, которая сдавала комнаты bed and breakfast (ночлег и завтрак). Я заплатил за неделю вперед. Он оставил мне различные адреса. Очень многие организации помогали эмигрантам: International Students' Service (Международная студенческая служба), квекеры, английские профсоюзы, некоторые депутаты парламента помогали из своих средств. Я начал бегать по этим адресам, как на работу. Всюду принимали хорошо, говорили, что это очень интересно, но есть ли здесь хоть одна живая душа, которая может подтвердить, что я действительно политический эмигрант. (Тамары в это время не было в Лондоне, она путешествовала по Уэльсу.) Неделя подходила к концу, как и деньги. (Отец смог дать мне только один фунт и сказал: «На большее

не надейся», а мама собрала в дорожку мешок провизии.) Положение было отчаянное. Я мог, конечно, пойти в латвийское посольство и за их счет отправиться на родину с последующей выплатой долга. Это называлось «отправить по этапам». Но оставалось последнее средство. Мой товарищ устроил мне свидание со своей приятельницей Трудой, аспиранткой-физиологом, которая эмигрировала из Германии. Это свидание было для меня очень драматичным, т. к. Труда повела меня в кафе, а платить мне было нечем. Я чувствовал, что скоро окажусь в неприятной ситуации, как герой известного рассказа Зоценко. Труда удивилась, что я ничего не заказываю. Она меня много расспрашивала, попросила мой адрес. Я ей даже немножечко нагрубил, сказав: «Я понимаю, что Вы хотите мне помочь, но что Вы можете? Зачем Вам мой адрес?». Труда меня успокоила, и поскольку в Англии почта, как известно, работает молниеносно, на следующее утро я получил открытку: «Dear Mister Eidus! My Friend Truda Scharff has told me about you. I understand that you are rather lonely here. Would you care to spend a week-end with an English family? I'll pick you up tomorrow». («Дорогой Мистер Эйдус! Мой друг Труда Шарфф рассказала мне о Вас. Я поняла, что Вы здесь весьма одиноки. Не хотите ли провести уикэнд в английской семье? Я еду за Вами завтра».) Утром у подъезда стоял роскошный форд, и за рулем сидела совершенно киношная женщина. Высокая, стройная англичанка, седая, красивая, с пронзительными голубыми глазами, лицо загорелое и обветренное. Все было как в кино. «Mister Eidus, are you ready?» («Мистер Эйдус, Вы готовы?») Мы поехали по изумительным местам, юго-восток Англии, графство Саррей, Элсом, где проходят знаменитые скачки Дерби. Она привезла меня в свой трехэтажный дом, познакомила с мужем, профессором биологии, детскими, их было четверо. Мне отвели спальню. Мы много гуляли, вели светские разговоры, слушали музыку, пили коньяк. Потом она спрашивает: «А каковы Ваши планы?». Я сказал, что для того, чтобы учиться, я должен найти работу, но необходимо что-то поручительное. Короче говоря, эта дама за меня поручилась и дала мне 50 фунтов. При очень скромном образе жизни этого могло хватить на год. Она помогала мне и потом, когда я поступил в университет. Ее дети учились в очень интересной, прогрессивной частной школе Томлинсона (он потом стал лейбористским министром просвещения). Эта школа была основана на особых принципах обучения: полное самоуправление со стороны детей, предметы по выбору, обязательные занятия спортом, группы по 5—7 человек. В ней учились также и беженцы из Германии, Чехословакии, которые не знали английского языка, я же немецкий знал в совершенстве и преподавал им физику, химию, математику по-немецки. Там же меня кормили, платили какие-то деньги. Учился я на вечернем отделении физического факультета. Во время войны, чтобы форсировать обучение, я стал заниматься утром и вечером, совмещая курсы, и окончил университет за 3 года. В 39-м, когда школа эвакуировалась, я остался в Лондоне и работал ночным сторожем. Так как я учился хорошо, меня на последнем курсе взяли в мой же колледж субсистентом: я руководил практикой у первокурсников.

— Почему Ваша англичанка приняла в Вас такое участие!

Это Англия. Англичане всегда были на

стороне того, кого бьют, underdog. Моя судьба не была уникальной, они помогали всем преследуемым. Было огромное число беженцев не только из Германии и Чехословакии, потом и из Франции, Норвегии, и никто не пропал. Это была charity (благотворительность, милосердие) в национальном масштабе. (Сейчас, говорят, там многое изменилось, есть бездомные.) По сравнению с Латвией, в которой установился диктаторский режим, в Англии было гораздо приятней жить. И вообще очень по душе мне были англичане. Надо сказать еще и об их терпимости, которая вначале была мне совершенно непонятна. Приведу пример. Я был максималистом, фундаменталистом, как теперь говорят. Они осуждали мои взгляды, но это не мешало нам поддерживать хорошие, дружеские отношения. На собрании нашего Students' Union (Студенческого союза) обсуждалось, насколько оправдана война Англии против Германии. Это было еще до вступления в войну СССР. Я считал, что, так как Советский Союз в войне не участвует, она несправедливая, империалистическая, а не освободительная. Поэтому чуть ли не желательна победа Германии. Эта точка зрения нашла и оппонентов, и тех, кто ее поддерживал. Но собрание прошло достойно, по ритуалу «This House holds... This House holds...», как в английском парламенте. Приняли обычную для английского собрания резолюцию. Большинство голосов поддержало войну, и никто не обвинил меня в поражении.

— Но Советский Союз оставался Вашим идеалом!

Да, ведь я был коммунистом.

— Вы хотели, чтобы в Англии был такой же общественный строй, как в СССР!

Да, я считал, что Англии присущи все пороки капиталистического общества.

— Вы задумывались о том, что будет с Англией, если там установится коммунистический режим!

Даже мысли такой не возникало. Впервые я понял, как это могло быть, прочитав «1984» Оруэлла лет двадцать назад.

— Но как же Вы соотносили Англию с Вашими убеждениями! Ваша англичанка не вызвала у Вас классового протеста, ведь она принадлежала к правящему классу!

Она не была эксплуататором. Дочь лорда, она жила на проценты от капитала, оставленного родителями. У нее было то, что называется income. Она классно водила машину, и всю войну, будучи уже весьма преклонного возраста, она работала на first aid (скорой помощи), возила раненых. А во время первой войны проработала медсестрой в госпитале.

Мы с ней много спорили. Она доказывала, что коммунизм невозможен, т. к. он противоречит природе человека, а она не меняется. Я же доказывал, что в Советском Союзе вырос новый человек, коллективист. Образцом человеческого отношения для меня были отношения между политзаключенными в тюрьме.

— Если бы Вы теперешний встретились с пылким юношей, каким Вы были тогда, какие аргументы Вы бы привели, чтобы переубедить его!

Я не старался бы его переубедить. Я бы рассказал ему кое-что из того, что было в реальности, а выводы пусть делает сам.

— А желание предостеречь, ведь столько судеб исколечено!

Я не стал бы ему препятствовать, пусть

выбирается сам. Ведь это была нормальная убежденность идеалистически настроенного человека с чистыми убеждениями. Сама идея в том виде была вымороченная, надуманная. При освобождении из тюрьмы у меня была беседа с начальником политического управления Рижского района Апансом. Тогда было так принято. Беседа интересная, долгая. Он мне предлагал всяческие блага в обмен на сотрудничество, я довольно дипломатично уклонился. Он сказал: «Ты можешь, конечно, поступать как хочешь, но знай, что придут твои и тебя первого поставят к стенке». Показал мне «Правду» с отчетами о процессах. Я презрительно отмахнулся. Вспомнил об этом гораздо позже... Я встречался с огромным числом противников коммунизма, но был совершенно непоколебим. У меня ведь было много единомышленников. Товарищ, который пригласил меня в Англию, был убежденным, стойким коммунистом. (Впоследствии он стал парторгом химического факультета в Риге, на фронте — замполитом роты и геройски погиб под Москвой. Вообще ребята из Латышской дивизии первого набора почти все полегли под Москвой, т. к. шли в атаку во весь рост, не кланялись немцу. Их ведь толком не подготовили к боевым действиям.) У меня никогда не было желания кого-либо упрекнуть за то, что со мной произошло. И сейчас нет.

А тогда я был самозабвенным коммунистом, восторгался Павлом Корчагиным и пропагандировал коммунизм. В Риге втянул в нашу организацию даже одного графа, немца, он потом стал известным ученым. Надо сказать, что после войны изменился генотип человека, менталитет совершенно другой. Если бы я тот, восемнадцатилетний, попал в сегодняшнюю среду, я бы в нее не вписался. Поэтому говорить сейчас в терминах тех идеалов неправомерно. Коммунистическая идея в том виде отошла в прошлое, отступила перед реальностью.

— Как справедливо заметил С. Л. Франк, «ее [социалистической веры] осуществление на практике есть крушение ее обаяния как веры». А Ваше знакомство с этой практикой было еще впереди.

Это теперь мы воспринимаем все через призму прошедших десятилетий, а тогда я был счастлив, что Латвия стала советской. Узнал я об этом так. Газетчики-мальчишки носили на груди плакаты с важнейшими заголовками. И в одно прекрасное летнее утро я прочел: «Stalin Grabs Baltic» («Сталин захватывает Балтику»). Я был в восторге от того, что теперь коммунисты выйдут из подполья, займут государственные должности и будут претворять в жизнь свои идеи. Я немедленно пошел в советское посольство и потребовал, чтобы меня отослали в СССР, был готов бросить все. Но тогда на Западе шла война, отношения с СССР были напряженными, и я смог только зарегистрироваться, а вот с гражданством меня обманули грубейшим образом. У меня взяли мой полновесный латвийский паспорт, который в мире признается до сих пор, и выдали книжечку, сказав, что это советский паспорт. Я был уверен, что у меня «серпастый, молоткастый... читайте, завидуйте...». А это был «вид на жительство», бумажка, которая выдается беженцам и разрешает находиться в СССР, но гражданства не дает. К счастью, на фронте документы мои пропали, и после госпиталя я получил красноармейскую книжку, а впоследствии на ее основании — паспорт. Об обмане я узнал уже после вой-

ны, когда вернулась из Англии Тамара. Она хотела прописаться в Риге, но в милиции ей сказали: «Помилуйте, это никакой не паспорт. Это вообще не документ, и Вы не гражданка СССР». Пришлось обратиться за помощью к друзьям.

Летом 41-го года я закончил университет, и когда началась Отечественная война, то и подавно не вылезал из советского посольства. Наконец мне выдали бумагу от военного министра Англии, адресованную посольству СССР: «По Вашей просьбе мы предоставили место на корабле господину Эйдусу». Это была заслуга посла Майского. Позже у него из-за этого были неприятности. Когда меня арестовали в 53-м, в моем деле я прочитал протокол допроса Майского. Его допрашивали о том, как и почему он содействовал моему возвращению в СССР. Насколько я знаю, я был единственным, кто поехал из Англии воевать в Красной Армии. Частному лицу тогда это было практически невозможно сделать. График прохождения транспортов был строгой засекречен от немецкой разведки. С большими сложностями, в условиях глубокой конспирации я добрался до корабля, где находилась английская миссия, — все как в шпионском романе. Корабль пошел в Исландию, там собрались караван и военный эскорт, в основном американский. Все путешествие продолжалось месяц, мы шли за Полярным кругом. Стоял октябрь, шторма. От нападения немецких подлодок и самолетов погибло около 40% кораблей.

На подходе к Архангельску я встретил первого советского человека на советской земле. Это был лоцман. Я с энтузиазмом заговорил с ним и ужасно удивился, что он так неохотно отвечает, не рассказывает про советскую жизнь. Единственное, что я узнал, это то, что он отдыхал в Крыму. Сошли на берег, документы у нас не проверяли, только спросили, есть ли огнестрельное оружие. В городе я чувствовал себя совершенно независимым, свободно, как человек с чистой совестью. Пришли разгружать корабль комсомольцы и солдаты. И с ними не удалось поговорить. Один матрос с нашего корабля попросил у солдата звездочку, тот пошел к своему начальнику: «Просят звездочку». — «Нет, нет, ни в коем случае». Я покочетничал с очень симпатичной комсомолочкой, предложил ей шоколад: «Я просто хочу Вас порадовать, ведь сейчас такое время». — «Ой, нет, нельзя, нам ничего нельзя брать». Мне это тоже показалось странным. А с англичанами я успел подружиться. Среди них был интересный человек — Эдвард Крэнкшо, атташе в Москве, потом — комментатор газеты «Обсервер». Еще майор Бэрс, он до революции жил в Петербурге, работал в какой-то торговой фирме. Он чисто говорил по-русски, очень образованный человек. Как мне объяснили впоследствии на Лубянке, они были агентами Secret Intelligence Service. Это знакомство стало одним из пунктов предъявленного мне в 1953 году обвинения. На «дугласе» мы полетели в Москву. Англичане привезли с собой, кажется, радарные установки и звали меня работать в посольство: «Ты физик, знаешь языки, пригодись нам». При моих убеждениях я, естественно, отказался. Я думал, что меня здесь только и ждут. Мы расстались на летном поле, бывшей Ходынке. С двумя чемоданами я потопал к будочке с надписью «Комендатура». А было это 16 октября, немецкие части стояли в Химках, в 25 километрах от Кремля. Москвичи бежали. Помню начало объявления,

развешенного повсюду: «Граждане Москвы! Немецко-фашистские войска прорвали фронт у Вязьмы. Для столицы создается угрожающее положение. Призываем всех соблюдать максимальную бдительность, хладнокровие, дисциплинированность». В комендатуре сидел какой-то лейтенант. Я поставил чемоданы на пол: «Здрасьте, я приехал из-за границы». Лихорадочно думал, куда же мне вообще ехать, и бухнул: «Отвезите меня в ЦК партии». И как это ни странно, он даже не спросил мои документы. Я был так уверен в себе, что он мне поверил, в такой момент, представляете?! Я самоуверенно добавил: «Чемоданы оставлю здесь, застра заеду». Он отвез меня в ЦК. Я — в первую попавшуюся дверь, но меня остановил солдат с винтовкой: «Куда? Пропуски!». Я и не знал такого слова. В бюро пропусков я представился: «Я коммунист из Латвии, мне надо найти латышей». — «А, из Прибалтики, тогда Вам надо на улицу Воровского, 24». Там было литовское постпредство. (Советские люди и теперь зачастую путают латышей и литовцев.) На улице уже было темно, и милиционер отправил меня в гостиницу «Москва». Там — огромный вестибюль, полная пустота и тишина, холод, а в углу сидит старушка. Я попросился переночевать, протянул десятифунтовую банкноту. Мне отвечают: «Валюту мы не принимаем. Ищите другую гостиницу». То же самое повторилось в «Гранд-Отеле», «Метрополе», «Национале». Я решил сделать, как в Англии. Там нельзя бродяжничать, и если ночью ты оказался на улице, а в гостиницу попасть нельзя, то подходишь к полицейскому, и он отводит тебя в полицейский участок, где запирает в специальную чистую камеру, а утром отпускает. Я попросил милиционера: «Отведите меня в участок». Он сразу перешел на «ты»: «А за что тебя в отделение?». Я объяснил ситуацию, и мне опять поверили! Постовой отвел меня в «Савой» (там сейчас гостиница «Берлин»), пошушукался с девочками, они взяли мою «филькину граммоту» и пустили в кредит. Но главное, выдали квитанцию о проживании, которая спасла мне жизнь. Дело в том, что в этой гостинице останавливались высокие военные чины, и квитанция свидетельствовала о том, что и я не простой человек. Утром я отправился искать улицу Воровского. Москва была пустыня, произвела впечатление мертвого города, как в начале фильма Бергмана «Земляничная поляна». И так же фантазмагоричны были мои хождения по городу. Тут уже я наткнулся на бдительных людей. Каждый, у кого я спрашивал дорогу, считал своим долгом отвезти меня в милицию, т. к. я явно был здесь чужой. Ходил я три дня, в центре побывал во всех отделениях милиции, два раза на Лубянке. Я предъявлял квитанцию из гостиницы, туда звонили, удоставлялись и выпускали. Наконец я нашел литовцев, и они направили меня в Армянский переулок, где находилось латвийское постпредство. Там я встретил знакомых по подполью, тюрьме, и мне стало так хорошо, Вы себе не представляете. Мне выдали 300 рублей, чтобы я оплатил гостиницу, и на следующее утро мы выехали на грузовике в Горьковские лагеря (Горьковская обл.), где формировалась Латышская дивизия. Так началась моя жизнь в армии.

Так как я был физиком, меня определили в роту связи работать на рации. Я был очень стерлятым солдатом, физически крепким и старался брать ношу потяжелее, чтобы стать еще сильнее. Немножко разочаровывало, что на меня косо посмотрели.

Потом произошло награждение отличников боевой и политической подготовки, и наградили одного солдата, страшную посредственность. Он был, что называется, «простой советский человек». Я тогда еще не понимал, что это — самое главное. Как-то в 50-е годы в университете принимали в партию чрезвычайно немую даму, и тогдашний секретарь парторганизации в качестве ее главного достоинства выдвигал то, что она ничем не отличается от других: «Это простой советский человек, такие нужны партии».

5 декабря, когда началось наступление под Москвой, нас отправили на фронт. Это был тяжелый марш. Мы шли по глубокому снегу, за три дня — 160 километров, кругом минные поля, ребята подрывались. По дороге — ни одной деревеньки, полная разруха. Я нес на спине раненого, у которого были оторваны ступни и все время текла кровь. Он не переставая кричал: «Vai-vai, manas kājinas». («Ой, мои ноженьки!»). Первые бои Латышской дивизии были на Юго-Западном направлении — Наро-Фоминск, Боровск. Там очень много наших минелло, но мне повезло, мне вообще везло. В Лондоне я был под всеми бомбежками. Один раз мы с другом пошли немного uzdzī vot (развлечься), а когда вернулись, дом, где я жил, оказался полностью разрушенным. Ванна висела, раскачиваясь, зацепившись ножкой за потолок... После боев я попал в дизентерий в госпиталь в Спас-Клепиках. По возвращении в часть я еще был активистом, но уже не таким ретивым. За два месяца похода я увидел много глупости, хамства. Офицеры часто ходили пьяные. Из-за гололетья мы потеряли столько народу. Например, обоз с валенками постоянно не мог нас догнать, и очень многие обморозились. Намеренной жестокости не было, но один командир, человек полуобразованный, страшно не любил интеллигентов, говорил, что они трусы, не поднимаются в атаку, и посылал на самые грязные работы и самые опасные задания.

В это время меня начала мучить мысль, что с моей квалификацией я мог бы быть на войне гораздо полезнее. И вдруг приехал секретарь ЦК КП Латвии Америкс, с которым мы когда-то сидели в тюрьме, и я поделился с ним своими сомнениями. «В партизаны хочешь?..» — «Конечно, хочу делу послужить». И меня отправили в Москву, в партизанское училище. Таких училищ было три — политработников, подрывников, связистов. Наше, связистов, находилось в здании теперешней Академии общественных наук, напротив дома Чехова и дома Берия. По окончании курсов, до того как придет на меня приказ, я оставался в училище инструктором. В отряде меня уже ждали. И тут случился очередной поворот в моей судьбе. Меня вызвали в ЦК комсомола дать интервью иностранным корреспондентам. Интересный объект: выпускник Лондонского университета, воевал под Москвой. Меня соответственно накачали, что можно говорить, чего нельзя. После моего выступления подошла одна американка, Джэнет Уивер: «We cannot properly talk here. Don't be afraid. I'm OK. My husband is in the Comintern. I'm a Correspondent of the «Daily Worker». («Здесь мы не можем толком поговорить. Не бойся. Я в порядке. Мой муж работает в Коминтерне, я — корреспондент «Дейли Уоркер».) Она жила на Сивцевом Вражке. Джэнет была из семьи богатых аристократов из Джорджии, из идеалистических побуждений стала ком-

мунисткой. После войны она вышла из компартии, развелась с мужем, что с ней стало дальше, я не знаю. Эта женщина тоже сыграла большую роль в моей жизни. С момента моего приезда в Советский Союз я не был ни в одном нормальном доме, не ел нормально, с тарелки, не спал в нормальной постели, не знал нормальных человеческих отношений. Я все время видел только отвратительную сторону жизни: война, кровь, голод, презрительное отношение офицеров, усталость, вечная усталость. Я был измученный, изголодавшийся, неприкаянный, как брошенный котенок. А тут было все: дом с прислугой, прекрасная еда и умная, привлекательная женщина. Иностранные корреспонденты вели интересную жизнь. Для них все двери были открыты, они разъезжали по местам всех боев, брали интервью у очевидцев, видели гораздо больше, чем любой солдат. При этом они жили богато, развлекались, нравы были свободные. Угарная жизнь. Очень точно это описано в книге «Meeting with Mars» («Свидание с Марсом»). Автора не помню.

Однажды меня попросили выступить по радио на Англию. Тамара же тогда работала в Лондоне в ТАСС, принимала передачи и передавала их разным агентствам. И это как раз было ее дежурство. Какое это было для нее переживание! Ведь она же ничего обо мне не знала со дня моего отъезда из Англии.

Через некоторое время меня вызвали в ЦК Латвии и предложили работу в латвийской редакции радио. Я вспылил: «Я приехал из Англии воевать, а не сидеть в тылу!». Пельше на меня цыкнул: «Вы комсомолец или не комсомолец? А Вы знаете, что, если партия приказывает...». Стандартная, конечно, фраза. Меня демобилизовали, так что в армии я прослужил лишь полтора года. На радио работал полный Интернационал, в основном иностранные коммунисты. Нашим политкружком, например, руководил Пальмиро Тольятти, который в Коминтерне был известен как Эрколи. Очень образованные, достойные люди, убежденные коммунисты. Жили они, правда, в несколько привилегированных условиях, но потом многим из них не поздоровилось. Я познакомился с «кухней» радиожурналистики. Жизнь была напряженная: шесть передач в день, без выходных, первая — в 6, последняя — в 11. Прекрасное время! В Москве появилось много знакомых. Среди них — Кадекс, бывший редактор нашего университета после войны. Исключительно порядочный человек. К концу войны начали организовываться так называемые оперативные группы, чтобы сразу после освобождения в Латвию смогла функционировать советская власть. Я был в оперативной группе университета, куда меня пригласил работать Кадекс. Так что 14 декабря 1944 года я приехал в Ригу и в тот же день был зачислен в университет.

Я был счастлив, что вернулся. Рига произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь если не считать периода между выходом из тюрьмы и отъездом в Англию, я почти десять лет был с ней в разлуке, с 1934 года. В первые дни я много ходил по затемненному городу, мне приятно было видеть старинные рижские улицы, старался разыскать знакомых. Рига была запущенная, хотя от разрушений пострадал в основном старый город, на который смотреть было очень больно. Поражала странная атмосфера. Люди всего опасались, говорили друг с другом очень осторожно, относились подозрительно к тем,

кто приехал из России, к войнам Латышской дивизии и с большой теплотой отзывались о легионерах. Вообще создавалось ощущение, что ты в чужом городе. Было много слов и реалий, свидетельствующих о быте периода немецкой оккупации: продовольственные карточки, магазины, книги, разговоры о Народной помощи. Ходили в эрзац-одежде, носили обувь на деревянных каблучках, которая называлась *klikaņinas*, элементы немецкой военной формы. Людей было мало, многие квартиры пустовали.

— Как вспоминали немцев!

По-разному, но немцев опасались меньше, чем советских. Народ был запуган, очень боялся репрессий, т. к. были еще свежи воспоминания о депортации 41-го года. Как-то очень слабо чувствовалось, что здесь были при немцах лагеря, гетто. Их, видно, от населения умело скрывали, или люди считали, что это их не касается.

В университете тоже было невесело. Многие преподаватели находились в Курземе, в Курляндском котле. Они ушли с немцами и там застряли. Их квартиры тоже пустовали. Приезжие, кто половчее, захватывали лучшие квартиры со всей мебелью, посудой, одеждой. Люди устраивались хорошо. Это мне немного напоминало период первоначального накопления капитала. К сожалению, я здесь очень проигрывал: сначала пришлось жить у чужих, и лишь через 8 месяцев я получил от университета 2 комнаты. Была карточная система, строгие лимиты на электричество. Появилось много частных лавчонок, цены там были высокие. Довольно быстро ухудшилось положение с продовольствием. Сработал закон сообщающихся сосудов, и очень скоро уровень жизни стал приближаться к советскому, хотя было и отличие. Очень скоро сложилось мнение, что Прибалтика лучше, культурнее, чище, и люди из других областей СССР старались сюда попасть. Тенденция к уравниванию была, но она работала с определенной инерцией, тем более что не произошла еще коллективизация, были частные хозяйства, богатый рынок. При строгой пропускной системе люди умудрялись выезжать в деревню за продуктами. Безусловно, по сравнению с Россией военного времени здесь было лучше.

Мы сразу же принялись за восстановление университета, работали самоотверженно, быстро удалось восстановить лаборатории, отремонтировать помещения, пострадавшие от бомбежки. К концу 44-го года возобновились занятия на всех пяти курсах. Студенты, человек тридцать, были из тех, кто остался и хотел продолжать занятия, часть из них не имела возможности учиться во время оккупации, другие возвращались из эвакуации.

— Вставал ли перед Вами вопрос, какой будет Латвия: советской или буржуазной!

Нет, но ходили упорные слухи, что очень скоро американцы освободят Прибалтику от большевиков.

— А Вы сами считали, что это естественно и закономерно, что Латвия станет советской!

Да, безусловно.

— Вас не смущало даже сравнение жизни в Латвии и Советской России!

Все равно мне тогда казалось, что некоторая специфика, обособленность Прибалтики останется, и здесь будет жить лучше.

— А Вы не задумывались, почему в Советском Союзе так плохо!

Нет, даже не задумывался. Я ведь попал туда в 41-м и считал, что вся эта разруха — следствие войны, никоим образом не связывал низкий уровень жизни с колхозным строем и вообще с характером советского строя. О репрессиях знал очень неопределенно и по-прежнему считал, что репрессированные сами заслужили свою судьбу.

Я стал очень активным комсомольцем, а в 48-м году меня приняли в партию. Очень правомерно отставал коммунистические идеалы. Нас посылали в деревню агитировать за сдачу продовольственного налога, причем я с полной убежденностью, как нам велели, говорил, что в Прибалтике колхозов не будет. Это была официальная установка. Я этому верил вплоть до того момента, когда организовался первый колхоз, кажется, «Накотне», да и позднее. Колхоз сомневался только после депортации 49-го года. Тогда на проведение этих акций мобилизовали многих членов партии. Я не знаю, как бы я повел себя в этой ситуации, но те товарищи, которые участвовали, были сильно подавлены тем, что им пришлось наблюдать. В каждой группе, которой было поручено вывезти одну семью, кроме представителей ГБ и внутренних войск, был один партиец. Мои товарищи старались дать людям побольше времени на сборы, но ничем помочь, безусловно, не могли. В городе царил подавленный затишье, недосчитались многих людей, и в университете тоже. Местное население в то время или очень плохо говорило по-русски, или вообще не знало языка. В лесах было много «лесных братьев». Когда нас посылали на заготовки, к нам приставляли людей из группы самообороны, даже выдавали оружие. Надо сказать, было страшно. Некоторые наши люди, особенно преподаватели, пострадали. Бытовал антикоммунистический фольклор:

Kad būs visi zemē sīstī
Tie kas stāv uz melno listi
Paliks čīstī komunisti.

(Когда убьют всех, кто в черном списке, останутся чистые коммунисты.)

Да, нельзя сказать, что отношение населения было очень дружественным. Во всяком случае, те латыши, с которыми мне пришлось общаться, указывали на многие безобразия, на недостойное поведение тех, особенно начальников, которые были сюда присланы и наживались, грабили пустые квартиры. Занимались этим, к сожалению, и коммунисты, и немало. Соответственно и на черном рынке появилось много хороших вещей.

— Вы не испытывали что-то вроде стыда за советскую власть!

Я испытывал не столько стыд, сколько душевный дискомфорт, когда мне указывали на совершенно явные нарушения этических норм, бесхозяйственность, другие недостатки. Я не мог не согласиться с этим, но в то же время я был обязан как-то защищать советскую власть.

— Но это не было Вашим убеждением!

Было. У меня была установка, что это все детали, все исправится, должно быть по-другому.

— Отклонение от генеральной линии.

Я еще, безусловно, был под влиянием идей своей юности.

— Но ведь и Советский Союз оказался не таким, как Вы предполагали. Вы все это списывали на войну!

Да. Кое-что старался не видеть. Говорят, что удобнее не видеть, но жить с таким раздвоенным сознанием тоже не очень-то легко. Уже и в частных разговорах среди коммунистов начали звучать критические мотивы, хотя и довольно глухо. Появлялся скептицизм. В целом я был еще очень правоверным человеком, но в деталях прорывалось то, что тогда называлось шаттанием, соскальзыванием в мелкобуржуазность, обывательщину. Тогда бытовала такая терминология.

— Кстати, она была очень удачно придумана и отлично работала. Термин «анти-советский» придерживался для крайних случаев, когда надо было сажать. А чтобы пристыдить, пускали в ход слова звучные. «Обывательский», «мещанский» — звучало не страшно, но обидно, унижительно. Как будто желание жить в нормальных человеческих условиях — позорно. Однако арестовали Вас за более серьезные преступления.

Да, как английского шпиона, в феврале 1953 г. На меня написал донос один мой коллега, образованный человек, блестящий лектор, знал несколько языков. На его совести аресты десятков рижских интеллигентов конца 40-х — начала 50-х годов. Но, пожалуй, самое любопытное в моем деле — не преступления, которые мне инкриминировали, а логика следователя, мотивация его убежденности в моей вине. Отталкиваясь от вопросов и предложений следователя, можно восстановить ход его мысли: «Тебе хорошо жилось в Англии. И все-таки ты приехал в СССР, да еще в Москву, да еще в тот момент, когда каждый нормальный человек стремился удрать оттуда. На это способен или шпион, или полный идиот, на которого ты явно не похож». На мой вопрос, не мог ли такой поступок диктоваться чувством патриотизма, последовал циничный ответ: «Какие глупости! Этого не может быть».

— Тюрьма, лагерь — это прежде всего страдания, но и новый опыт, новые знания. Что дал Вам лагерь!

Знание жизни, о которой я раньше не подозревал. Это же целый особый мир. Наш лагерь был в основном для воров. Воровской мир — это какая-то другая Россия. Другой уровень духовности, невежество, совершенно искаженные представления об элементарных основах человеческих взаимоотношений. То, что я увидел, прочувствовал, привело на меня огромное впечатление, наложило отпечаток на мое отношение к жизни, к советской действительности. Как могло такое возникнуть на фоне коммунистической идеологии, гуманизма в СССР, о которых нам твердили! Такой страшный нарост, который, по-моему, никогда и нигде в мире не существовал. Я не мог совместить эту идеологию и действительность страны ГУЛАГ, а ведь вся Россия была покрыта лагерями.

И тем не менее в лагере ценились люди высокой духовности, очень человечные. Их уважала даже блатная свора, если они не вмешивались в ее дела. Вообще блатные уважали образование, им нужны были люди, которые напишут письмо, жалобу. Целыми ночами, открыв рот, они слушали пересказ интересной книги. Это называлось «тискать романы». Меня уважали, ко мне относились хорошо также и за то, что я играл на аккордеоне. И мне захотелось помочь с образованием некоторым ребятам, особенно молодым.

— Вы сочувствовали им!

Были так называемые «блатные» и «мушкетеры», которые не состояли в их классе: карманные воришки, сбежавшие детдомовцы, беспризорные, случайные люди. Эти нас охотно слушали, приставали с расспросами: «Объясни: почему то, почему это». Наше общение приобрело определенную направленность, когда (уже при Хрущеве, в 1954 году) учредили должность замполита и к нам прислали военного, артиллериста, к госбезопасности и МВД он не имел никакого отношения. Это был честный коммунист, охотно называю его по имени: Николай Константинович Белик. Я и сейчас поддерживаю с ним дружеские отношения. Он быстро и серьезно взялся за дело, просмотрел личные дела и довольно хорошо разобрался в контингенте. Через какое-то время я к нему обратился: «Нельзя ли организовать учебную группу?». Белик сразу же на это пошел, выделил в зоне целый барак, позднее школу зарегистрировали в роно. Я уже работал маркшейдером на шахте, а по вечерам преподавал. Потом ко мне присоединились мой близкий друг геолог Мартынов, преподаватель Томского университета, еще художник, инженер.

Наша аудитория была очень благодарная, занимались с большим интересом. Я увидел, что своими силами нам не справиться, и предложил Белику пригласить учительниц из поселковой школы. Сначала он был против: «Что Вы, что Вы, у нас такой контингент — их растерзают». Я поговорил с ребятами: «Вы отвечаете за учительниц, все зависит от вас». Они сразу же согласились. И вот у вахты встречали учительниц и провожали до школьного барака, который был в конце лагеря. Очень их всегда ждали, прихорашивались перед их приходом. Блатные не мешали, только поспеивались. Шли настоящие занятия, выдавались аттестаты зрелости. Школа работала и потом, после меня. Белик нам очень помогал, ко всем относился по-человечески. Мы ему многим обязаны, так как он облегчал нам жизнь. Он очень скоро ушел из этой системы, работает в Киеве инженером. Да и сама лагерная система начала распадаться. Потом опять стало страшно. А тогда пошли послабления: мы жили за зоной, уходили в увольнение, я ездил в Воркуту за книгами. После лагеря моя судьба сложилась нормально. Я был реабилитирован, и в день приезда в Ригу меня зачислили в университет. Правда, первые 8 месяцев жил в лаборатории.

— Когда же наступило прозрение!

Я бы это так не назвал. Я стал оценивать вещи более трезво. Это был постепенный процесс. Его ускорило пережитое в советской тюрьме и лагере. Еще в Бутырской тюрьме я познакомился с очень интересными людьми. Им я обязан своим просвещением. Особенно мне запомнился бывший второй секретарь ЦК Компартии Грузии. Он хорошо знал и Сталина, и Берия, и Маленкова. Провел 18 лет на Колыме и был вызван, кажется, по делу Берия

в Москву. Он много видел, много знал, еще больше думал и многое переоценил. Рассказы его и других сокамерников, мои переживания и размышления — все это постепенно сложилось в систему и помогло мне понять хотя бы частично этот период истории, под колеса которого я попал.

Но решающее влияние на мои представления оказал доклад Хрущева на XX съезде, о котором мне написала моя приятельница Любаша Мерварт, юрист. Мне предоставили краткосрочный отпуск без права пребывания в Москве и Ленинграде. Но я все же решился заехать в Москву, чтобы похлопотать за себя. Мы с Любашей пошли в военную прокуратуру. Вы себе не можете представить, что там творилось! Началась массовая реабилитация, и в прокуратуре было настоящее столпотворение. Поскольку я был в Москве незаконно, к прокурору послал Любашу. И тут произошла такая сцена. Приемная полна народу, открывается дверь, выходит прокурор в форме и говорит: «Кто здесь Эйдус?». «Я», — отвечаю очень робко. «Чего Вы боитесь? Это ведь сейчас признак порядочного человека. Заходите».

— Профессор, у меня остались некоторые вопросы. Характеризуя людей, Вы часто пользуетесь устойчивыми словосочетаниями: «честный коммунист», «убежденный коммунист». Какой смысл Вы вкладываете в эти формулы? Нет ли здесь противоречия в терминах!

Сейчас за ними для меня стоит следующее: определенные нормы порядочности, общезнания, коллективизма, иногда даже самопожертвования. Фактически это общечеловеческие ценности. В гораздо меньшей степени они связаны с понятиями коммунизма, христианства, демократизма или какого-либо иного «изма». Во всяком случае, они сильно деполитизированы.

— Одним из источников коммунистического мировоззрения Вы считаете идеалистические побуждения. Здесь, вероятно, имеется в виду бытовое словоупотребление понятия «идеализм». Если позволите, я изложу здесь свою точку зрения на эту проблему, не претендуя, разумеется, на оригинальность. Этот идеализм представляет собой веру в то, что человек может и должен быть хорошим и счастливым. Помните, Ваша англичанка говорила о неизменной природе человека! Это вовсе не скептицизм, но скорее доверие к человеку, приятие его таким, каков он есть. Человек способен на все, но ему дарована свобода выбора между добром и злом. Коммунистическая же идеология из тех самых идеалистических побуждений претендует на право государственного вмешательства в самое сокровенное в человеке — в его душу, тем самым лишая его личного, свободного выбора. Идея сама по себе страшная, ибо это попытка животворящую стихию втиснуть в жесткие рамки. При этом

стихия остается стихией и зло просто принимает иные формы. Остается и сам выбор, только в чудовищной форме: стать палачом или жертвой. Повезло тем, кого жизнь избавила от этой дилеммы.

Помните того хорошего замполита в лагере, Н. К. Белика, которого я назвал настоящим, убежденным коммунистом? Он считал, что свойство коммуниста — человечность, а его цель — исправлять преступников и наставлять их на путь истинный. И вот я вернулся из лагеря в Ригу, когда выдвигались кандидаты в депутаты. Случайно оказался в аудитории, где проходило выдвижение. Список уже был утвержден, как вдруг секретарь сказал: «Я предлагаю Эйдуса», — и меня избрали, даже на два срока. Когда я написал об этом Белику, он был очень горд: «Вот видите, как мы там работали с людьми. Отсидел человек в лагере — и стал депутатом».

— Блажен, кто верует... Я ни в какой мере не хотела бы оскорбить хорошего, честного человека, который столько сделал для Вас, да и не только для Вас, в лагере. Но ведь веру надо было питать. Этот идеализм мог питаться только иллюзиями, а так долго и успешно выдавать иллюзии за реальность стоит жертв, и, как убеждает опыт нашей истории, жертв немалых. Сталин недаром так планомерно истреблял инакомыслие, малейший намек на инакомыслие, да и любое «мыслие» на всякий случай, воздвигал такую крепкую стену между СССР и остальным миром. Вы ведь сами говорили о роли советской пропаганды в становлении Ваших взглядов. Вообще проблема личности Сталина — стремление к власти, хитрость, жестокость, паранойя — кажется мне несущественной. Он просто наиболее последовательно реализовывал коммунистическую идею, эту абстракцию. Когда заходят споры на эту тему, я всегда вспоминаю стихотворение западногерманского поэта Г.-М. Энциенбергера:

Воистину великолепны
великие замыслы:
рай на земле,
всеобщее братство...
Все это было бы вполне достижимо,
если бы не люди.
Люди только мешают:
путаются под ногами...
Если бы не они,
если бы не люди,
какая настала бы жизнь!

А то, что в советской жизни были и порядочность, и мужество, и самопожертвование, вовсе не заслуга идеологии. Есть в мире и другие ценности.

Да, действительно, в конечном итоге все решает тот самый «человеческий фактор», о котором говорят все больше и больше. Жаль только, что в истории человечества более глубокий след оставляет зло, а не добро.

— Благодарю Вас, профессор, за Ваш рассказ.